

Глава 4. Романтики и социальные пессимисты: первое поколение российских персоноцентристов.

*Содействовать духовному возрождению,
должно предшествовать всякому изменению
в политическом порядке, чтобы сделать
устойчивым и полезным.*

М.С.Лунин.

От того, насколько истина, содержащаяся в этой мысли, будет воспринята нами, живущими в России начала XXI века, во многом зависит судьба и наша, и тех поколений, которые придут нам на смену, а возможно, и обитателей других регионов Земли. Во всяком случае, за пренебрежение ею в прошлом мы заплатили и продолжаем платить немислимо дорогую цену. А была она сформулирована больше 150 лет назад, в забайкальской каторге, в краях, знаменитых только тем, что именно отсюда двинулись на покорение мира орды Чингиз-хана. Высказал ее человек, проживший бескомпромиссную жизнь и готовившийся подвести под нее черту. Мысль эта была не только уроком, вынесенным им из собственного горького опыта, но и философским осмыслением итогов земного бытия первого поколения российских персоноцентристов.

Появление этого поколения на сцене русской общественной жизни можно условно датировать первым десятилетием XIX в. (На уровне индивидуального сознания персоноцентризм можно обнаружить и среди предыдущего поколения, однако оформление его как умонастроения целой общественной группы мы связываем именно с этим моментом.) Именно тогда в заметных размерах стали давать о себе знать результаты расшатывания традиционалистской системы моральных стереотипов и ценностных ориентаций, что, как мы видели, происходило с различной степенью интенсивности уже в течение достаточно долгого времени. Социальный «продукт», возникший в результате этого процесса, часто называют дворянской интеллигенцией. Понятие интеллигенции употребляется в данном случае, конечно, не в западном социологическом, а в специфическом российском гуманистическом

смысле слова, т. е. для обозначения слоя людей, которые в своих мыслях и поступках способны подняться над уровнем личных и групповых интересов, людей с чувством гражданского долга, сознанием своей ответственности перед обществом.

Вообще говоря, интеллигенцию не следует отождествлять с носителями персоноцентристского сознания. Например, в западных условиях эти обозначения просто следует относить к существенно различным группам населения, ибо в некоторых странах персоноцентристское сознание является господствующим среди всех социальных слоев. Иными словами, персоноцентрист - необязательно интеллигент по своему социальному статусу и жизненной позиции. Интеллигент же в принципе может рассуждать и в пределах системоцентристской шкалы ценностей (мы убедимся в этом позже, на примере рассмотрения взглядов представителей некоторых последующих поколений русской интеллигенции).

Однако в период, к которому мы сейчас обращаемся, оба эти понятия можно отнести практически к одной и той же группе людей. Впрочем, узость этой группы, противоположность ее мировоззрения взглядам основной массы населения в значительной мере сохранились и в дальнейшем. И в этом, как уже отмечалось при изложении концептуальной схемы русской истории, состоит одна из причин ее трагического развития.

Каковы же культурно-исторические предпосылки возникновения обозначенной социальной группы - интеллигенции? Как могло взойти это диковинное семя на столь мало плодородных до того почвах русской действительности? Представляется, что этому способствовали факторы и объективные, и субъективные.

Первым из числа объективных факторов, совокупное развитие которых привело к появлению в России «новой породы людей», следует, очевидно, назвать **дворянскую свободу**. Указ 1762 г. о вольности дворянства, несмотря на анекдотические обстоятельства его составления и подписания, повлек за собой последствия, о которых недалекий император Петр III даже не догадывался. **В России впервые**

возникло сословие, в законодательном порядке защищенное от произвола. Конечно, с максималистских позиций к Указу можно предъявить очень большие претензии, как, например, делал Пушкин, считавший, что дворянству была дарована не подлинная, а развращающая свобода крепостника и вельможи. И все же трудно переоценить влияние указа на последующее развитие русской истории, ибо им была заложена база для образования относительно независимой от власти, а следовательно, и политически свободной аристократии, что А.Токвиль применительно к феодальному обществу считал важнейшим необходимым условием социального прогресса. «Два небитых дворянских поколения» породили общественную среду, обладавшую развитым чувством человеческого достоинства, т. е. среду Пушкина и его современников.

Вторым объективным фактором было **распространение просвещения.** Мы уже обращали внимание на сопротивление, с которым сталкивались различные попытки убедить русских людей в необходимости образования, привить русской жизни дух просвещения. Этим попыткам противостояло столь длительное, упорное и многообразное противодействие, что порой невольно приходила мысль о какой-то «иммунологической несовместимости». Все же барьер был преодолен, и на исходе XVIII в. «мысль о пользе наук» более или менее привилась в дворянской среде. Но собственно система образования возникла в России в начале царствования Александра I, когда наконец получил воплощение составленный еще при Екатерине проект средних (гимназий) и низших (приходских) школ. И очень быстро система стала давать плоды.

Теперь о субъективных факторах. В качестве важнейшего я бы назвал развившуюся с течением времени **способность к восприятию духа, смысла, квинтэссенции европейской культуры, а не только ее внешних форм, плодов и шелухи.** Более того, на смену неразборчивому, эклектическому подражанию пришло критическое осмысление западной действительности, ее аналитическое расчленение и, что особенно важно, желание использовать ее сильные стороны в

качестве образцов для перестройки общественной жизни. Последнее обстоятельство было совершенно новым. Если екатерининский вольтерьянец, пусть не в полной мере, но все же в общих чертах, начал улавливать, в чем состоит суть западной цивилизации, и в этом отношении между ним и представителем поколения декабристов существуют лишь количественные различия, то в плане выводов, которые делали для себя из познания этой цивилизации люди двух названных исторических типов, между ними лежит пропасть качественных, ценностных расхождений. **Первые находили различные способы ухода от русской действительности, вторые видели смысл своей жизни, свое предназначение в ее преобразовании.** «Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими» 1). Поясним суть этого важнейшего изменения на конкретном историческом материале.

Как мы знаем, в России издавна люди, которым претили по тем или иным причинам отечественные порядки, старались так или иначе порвать с ними. В зависимости от обстоятельств они либо бежали в Европу, либо уезжали туда легально и проводили там большую часть жизни, либо устраивали некое подобие другого мира у себя дома, в своем кругу, либо, на худой конец, уходили во внутреннюю, духовную эмиграцию. Подобный эскапистский тип негативной реакции на окружающую действительность воспроизводился от поколения к поколению. А тут появилось поколение, у которого неудовлетворенность российской жизнью порождала прямо противоположную реакцию - стремление переделать эту жизнь в соответствии с усвоенными идеалами чужеземного происхождения. Желание, доселе не имевшее прецедента!

Воплощением такого пути из России в Россию через Париж был П.Я.Чаадаев. А.А.Лебедев даже считает его первопроходцем. «Чаадаев был первым русским, в самом деле идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева» 2). Представляется,

однако, что путь этот был не исключительным, а типичным для чаадаевского поколения. Размах деятельности тайных обществ в александровскую эпоху служит тому подтверждением, ибо в большинстве своем общества состояли из людей, так или иначе прошедших этот путь. Например, В.К.Кюхельбекер, наблюдательный и любознательный путешественник, каждая страница путевых заметок которого дышит глубоким интересом, а часто и восхищением перед духовными богатствами Европы, тем не менее пишет из Дрездена: «Вы себе можете представить, друзья мои, как часто я бываю у М. ... можете вообразить, что мы разговариваем только и единственно о России и не можем наговориться о ней: теперешнее состояние нашего отечества, меры, которые правительство принимает для удаления некоторых злоупотреблений, теплая вера в Провидение, сердечное убеждение, что святая Русь достигнет высочайшей степени благоденствия... что небо предопределило россиянам быть великим, благодатным явлением в нравственном мире, - вот что придает жизнь и теплоту нашим беседам...» 3) Друзья и современники Кюхельбекера, как следует из приведенного отрывка, вполне могли представить себе, что два русских, встречаясь за границей, будут говорить о судьбах России как о самом важном для них вопросе. Однако отцам этих людей, пожалуй, и в голову бы не пришло проводить таким образом время «в Европах». Происшедшее изменение можно сформулировать очень коротко: русские дворяне доросли до роли граждан своего отечества.

Кристаллизации нового типа русских людей немало способствовали и внешние обстоятельства. В ходе войны с Наполеоном русская армия, в составе которой находился практически весь цвет тогдашней молодой России, дважды пересекла Европу, получив богатейшую возможность для наблюдений, сравнений, размышлений. При этом одержанная победа и сознание собственной моральной правоты позволяли этим людям в отличие от их отцов чувствовать себя в Европе не зеваками, попавшими в столицу из медвежьего угла, а благородными партнерами европейских народов. К тому же французское нашествие и связанные с ним события в значительной мере излечили образованное русское

общество от некритической франкомании, столь характерной для него в XVIII в.

Совершенно новым субъективным фактором было также то, что мыслящее русское **общество впервые поднялось тогда от казенного до более высокого понимания патриотизма**, подразумевавшего наличие чувств любви и долга не по отношению к власти или к Российской империи, а к народу, к отечеству в самом широком и политически нейтральном смысле. «Чувство гордости за свой народ отделилось от гордости за свою страну, патриотизм переставал быть чувством государственным... Шел процесс своего рода «расказенивания» личности» 4). Иными словами, **патриотизм перестал быть синонимом верноподданности**. А раз так, то квазипатриотические восторги стали уступать место **патриотической скорби**, для чего русская действительность давала неизмеримо больше оснований. Эти чувства патриотической скорби, боли и обиды за своих соотечественников с особой силой охватывали тех, кто возвращался в Россию со свежими впечатлениями о европейских порядках, т. е. участников Французского похода. О крайне тягостных чувствах, которые охватили вернувшихся гвардейцев уже в первые часы пребывания на родной земле, во время их торжественной встречи, когда полиция нещадно била пытавшийся приблизиться к войскам народ, а любимый царь Александр с обнаженной шпагой бросился на мужика, случайно попавшего под копыта его коня, вспоминал много лет спустя в своих записках декабрист И.Д.Якушкин 5).

Примечательным симптомом процесса «расказенивания личности» могут служить получившие тогда распространение отказы от официальной карьеры, причем чаще всего подобный шаг предпринимали как раз те люди, которые обладали незаурядными способностями и имели прекрасные перспективы продвижения по служебной лестнице. При этом отказ от службы отнюдь не был бегством от общественной жизни, желанием существовать в довольстве и спокойствии в своем имении либо за границей, как бывало до них и случалось позже. Старосветской ленью это поколение дворян уж никак

не отличалось. Уходы в отставку были связаны как раз с обратным явлением – со стремлением к освобождению от казенных пут для активной деятельности на всеобщее благо.

М.С. Лунин, например, так аргументировал свое решение: «Для меня открыта только одна карьера – карьера свободы... а в ней не имеют смысла титулы, как бы громки они ни были. Вы говорите, что у меня большие способности, и хотите, чтобы я их схоронил в какой-нибудь канцелярии из-за тщеславного желания получить чины и звезды, которые французы совершенно верно называют *crachat* (плевок). Как? Я буду получать большое жалованье и ничего не делать, или делать вздор, или еще хуже - делать все на свете; при этом надо мной будет идиот, которого я буду ублажать, с тем, чтоб его спихнуть и самому сесть на его место? И вы думаете, что я способен на такое жалкое существование? Да я задохнусь, и это будет справедливым возмездием за поругание духа. Избыток сил задушит меня. Нет, нет, мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действия! Вот это настоящая жизнь! Прочь обязательная служба. Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения; я буду приносить пользу людям тем способом, каковой мне внушают разум и сердце» 6). Чаадаев называет два мотива своей отставки: желание эпатировать власть, высказав тем самым пренебрежение к ее милостям и «игрушкам», и намерение служить целям своего «истинного честолюбия».

Впрочем, Чаадаев в своем понимании патриотического долга, как и во многих других отношениях, пошел еще дальше. Он полностью отрешился от элементов биологического, нерассуждающего, всепрощающего чувства по отношению к родине, поставив «любовь к истине» выше «любви к отечеству». Внешне чаадаевская позиция сходна с позицией его современника, профессора Московского университета Владимира Печерина, решившего покинуть Россию навсегда и писавшего перед своим отъездом: «Что значит отечество в наш образованный век? Мы вырвались из цепей природы! Мы стоим выше ее! Физические путы нас больше не связывают и не должны связывать. Глыбы земли - какое-то сочувствие крови и мяса - неужели это отечество? Нет! Мое отечество там, где живет моя мысль, моя

вера!» 7) Дополнительное сходство им придает и то обстоятельство, что оба они (Печерин - с соблюдением всех ритуальных формальностей, Чаадаев - по сути) перешли в католичество, отказавшись тем самым от веры отцов и связанной с нею системы идеалов. Однако между ними есть и существенная разница: Печерину с некоторого момента стало почти безразлично все связанное с родиной и ее судьбой, Чаадаев же, напротив, будучи уже в зрелом возрасте, всю силу своего интеллекта обратил на задачу проникновения в смысл русской истории и общественной жизни. Печерин проклял Россию, покинул и на долгие годы забыл ее. Чаадаев же, оценивая Россию ничуть не лучше, вернулся к ней и принял за нее страдания.

Печерин стал «гражданином мира», Чаадаев до конца остался русским. Каждый из них был прав по-своему. Да и кто вправе их судить? Но для нас, поскольку мы сейчас прослеживаем генезис русского общественного духа, конечно, важнее выбор, сделанный Чаадаевым, ибо выбор Печерина, ставшего в Европе знаменитым католическим проповедником, увел его далеко от интересов русской общественной жизни.

В числе важных факторов, оказавших влияние на формирование сознания русских интеллигентов начала XIX столетия, было **воздействие католичества**. Как известно, в последнем десятилетии XVIII в. в Россию хлынул поток политических эмигрантов из Франции. Значительную долю их составляли представители духовенства - аббаты. Эмигранты-дворяне также принесли с собой немалый клерикальный заряд. Большая часть этих людей пошла, ради хлеба насущного, в гувернеры и стала воспитывать русскую дворянскую молодежь. К тому же при Павле в России заметное влияние получил Мальтийский орден, заручившийся высочайшим покровительством. А под именем мальтийцев, как известно, действовали многие члены незадолго до того распущенного Ордена иезуитов. Так, в Петербурге, близ Фонтанки, открылся пансион для детей богатого дворянства, и на главных ролях в этом пансионе были иезуиты. А они в высшей степени владели искусством приспособлять свое учение к ожиданиям и установкам воспитанников и тем самым облегчали себе путь к их душам. Кроме того, как католические аббаты, так и иезуитские монахи обладали

несравненно более высоким уровнем общей подготовки, нежели православные священники. В результате католическая идеология очень быстро получила среди того поколения русского высшего общества, особенно среди молодежи, самое широкое распространение.

При этом обращение в католическую веру часто носило характер хорошо продуманного, философски обоснованного выбора. Возьмем тех же Лунина и Чаадаева. Лунина, помимо того, что в детстве он получил католическое воспитание, импонировали в католичестве деятельное начало, основанное на принципе свободы воли, большая гибкость, интерес к социальным и политическим вопросам, высокий уровень эстетической культуры. «Распространение католицизма, как ему кажется, могло бы ускорить русскую свободу. Для него это один из элементов освобождающего просвещения»⁸). Чаадаев же рассматривал католичество в первую очередь как силу, работавшую на западноевропейский исторический прогресс, как антипод византийского православия, освящавшего и помогавшего консервировать жестокие и бесплодные общественные отношения. Его также несомненно привлекали католические традиции независимости от светской власти, протеста и сопротивления несправедливым, аморальным действиям земных правителей. Ключевский отмечает, что значительная часть будущих декабристов вышла из стен пансиона у Фонтанки.

Факт этот выглядит, на первый взгляд, довольно парадоксально, ибо католические воспитатели отнюдь не намеревались готовить кадры для дворянской революции. Как мы знаем, их умонастроение носило весьма консервативный характер. Как же объяснить подобное несоответствие ценностей воспитателей и их воспитанников при очевидных успехах в усвоении последними преподававшихся знаний? Ключевский делает это так: «Кажется, католическое влияние, встретившись в этих молодых людях с вольтерьянскими преданиями отцов, смягчило в них и католическую нетерпимость, и холодный философский рационализм; благодаря этому влиянию сделалось возможным слияние обоих влияний, а из этого слияния вышло теплое патриотическое чувство, т. е. нечто такое, чего не ожидали воспитатели»⁹). Иными словами, Ключевский полагает, что дело в наложении друг на друга влияний двух

поколений французских гувернеров - вольнодумцев и католических нео-ортодоксов. Такое объяснение, как мне кажется, при всем его остроумии, несколько недооценивает роль «местных условий», почвы, в которую ложились воспитательные семена.

Представляется, что в русских условиях иезуитско-католическое воспитание дополнительно выполняло еще и специфическую функцию внедрения в сознание наших соотечественников принципиально нового для них взгляда на мир и свое место в нем. Я имею в виду индивидуалистическое самосознание, восприятие самого себя как неповторимого, обладающего высшей ценностью явления, т. е. те вещи, которые уже несколько веков пусть с переменным успехом, но пробивали себе дорогу в европейской жизни и которые совершенно отсутствовали в русских как государственных, так и религиозных традициях. Католическое воспитание несло в Россию **развитие личностных начал**, общий дух персонцентристского умонастроения. Кроме того, оно давало превосходный умственный тренаж, приучало ленивые, в предыдущих поколениях рано заплывавшие жиром мозги к интенсивной работе. А соединение мыслящей, индивидуалистически настроенной личности с русской действительностью вызывало резкий психологический диссонанс и порождало гремучую смесь радикальных идей и намерений. Вот как сработали, казалось бы, охранительные католические принципы на Русской земле.

Итак, мы очертили основные культурно-исторические предпосылки, связанные с формированием первого поколения русских интеллигентов. Повторим их: дворянская свобода; распространение просвещения; развитие способности аналитического понимания главного содержания европейской цивилизации в сочетании со стремлением использовать это понимание для преобразования отечественной общественной жизни; преодоление некритической франкомании; выработка более совершенной модели патриотизма, в которой собственно отечество и существующие в нем государственные порядки суть различные явления, что, соответственно, предполагает различное к ним отношение, а любовь к родине может выступать в форме резкого неприятия ее отрицательных черт.

Посмотрим теперь, каковы были эти бросившие вызов многовековой системоцентристской традиции люди по своему нравственному облику.

Прежде всего, их отличала **ориентация на благо своего народа** в самом широком, подлинном и честном смысле этих слов, искреннее намерение помочь соотечественникам улучшить жизнь, создать условия для свободного развития русского общества в направлении гуманистических идеалов просветителей. Правда, представления о том, каким должен быть путь к достижению этих идеалов, да и само их понимание были неопределенными, смутными и противоречивыми. Но нас в данном случае меньше интересуют вопросы, связанные с идеологией этих людей и степенью ее зрелости. Иными словами, нам важна не политика, а сам дух движения. А сутью, пафосом этого духа несомненно было **свободомыслие**. Именно оно служило интегрирующей основой для движения, во всем прочем аморфного, противоречивого и эклектичного. Так, Якушкин писал: «... в это время свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком» 10). То что в предыдущих поколениях было редким исключением, здесь стало нормой, *condicio sine qua non*. Власть прозвала происшедшую переменную и по старой полицейской привычке искала источник, распространителя «заразы», но получала обескураживающий, не вписывающийся ни в какие прежние схемы ответ. Когда Лунина во время допроса в Комитете для изыскания о злоумышленном обществе спросили: «...с какого времени и откуда он заимствовал свободный образ мыслей, тот ответил: «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить; к укоренению же оно способствовал естественный рассудок» 11).

Далее, конкретное воплощение названной ориентации не ограничивалось благими рассуждениями и намерениями, а проявлялось в готовности действовать, посвятить свою жизнь служению избранным общественным идеалам. И, что не так часто бывает в истории, эти устремления носили, как правило, абсолютно **альтруистический**, жертвенный характер. В отличие, например, от своекорыстно

настроенных верховников свободомыслящие дворяне первой четверти XIX в. не думали ни о расширении своих привилегий, ни о возможности занять «теплые места» в случае установления «нового порядка». Напротив, ради народного блага они были готовы лишиться всего - положения в свете, крепостных, доходов. Тщеславие также не могло служить для них сколько-нибудь серьезным стимулом, так как с самого начала они не рассчитывали дождаться плодов своих начинаний, призывая друг друга к «долготерпению на десятилетия и столетия», а когда позднее часть из них вышла на площадь, то почти все они сознавали свою обреченность. Добровольно и сознательно они принесли себя в жертву и до конца дней не раскаивались в этом. Когда М.А.Фонвизин за год до смерти покидал Сибирь, где провел на каторге и поселении без малого 30 лет, он в ноги поклонился И.Д.Якушкину, который некогда принял его в «Союз спасения» и тем самым определил всю его последующую жизнь!

О сугубо нравственном характере движения свидетельствует и то напряженное внимание, которое многие его участники уделяли вопросам морального совершенствования, добродетели, милосердия. Вспомним хотя бы пушкинский призыв проявлять «милость к падшим», кюхельбекерские рассуждения о Христе как хранителе гонимых, самоотверженное поведение декабристов и их семей в условиях сибирской ссылки и каторги. Ведь раньше на Руси такого не водилось, да и потом милосердие у нас не слишком процветало. Об озверении, сопутствовавшем социальным катаклизмам XX в., нечего и говорить. Но и в самый гуманный для России момент, в конце девятнадцатого столетия, толстовство встретило оппозицию во всех слоях общества и, несмотря на героические усилия энтузиастов, не пустило глубоких корней.

Когда мы пытаемся понять людей прошлого, то вольно или невольно реконструируем их мотивы и побуждения по своему образу и подобию, приписываем им свои собственные черты. Как писал М.Блок, «мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить

прошлое» 12). В какой-то мере подобная психологическая модернизация истории неизбежна. Однако, проделывая ее, мы не должны забывать об этой особенности нашей психологии. В противном случае мы рискуем совершить ошибку при попытке исторического объяснения.

Так, за последние сто лет было произнесено множество как обвинительных, так и защитительных речей в связи с «покаянным» поведением большинства декабристов во время следствия. Оно действительно производит гнетущее впечатление. Но, как мне кажется, почти во всех попытках объяснить причину, под воздействием которой эти несомненно мужественные люди стали на путь «сотрудничества со следствием» 13), явно недооценивался тот факт, что они при всей их нерешительности и колебаниях были, как правило, совершенно **не способны к моральным компромиссам**, ко лжи даже из тактических соображений. Кюхельбекер писал: «Мне кажется бесчестным даже в светском смысле выдавать себя за защитника какого бы то ни было учения и быть врагом оногo» 14). В соответствии с основанным на этой максиме кодексом они полагали ниже своего достоинства лгать и изворачиваться на следствии. Людям нашего века, умудренным и развращенным знанием новой и новейшей полицейской истории, такая позиция кажется непростительной глупостью или даже предательством. Но декабристы считали унижительным и бесчестным скрывать свои взгляды и поступки. Следствие же, естественно, действовало в соответствии со своим моральным кодексом. Оно использовало их этические принципы в своих интересах и умело выжимало из них все новые имена и факты. Лишь очень немногие из декабристов разгадали эту игру и избрали линию поведения, хотя и нарушавшую их моральный кодекс, но более соответствовавшую обстоятельствам, ситуации, в которой они находились 15).

Кроме того, для понимания нравственного облика рассматриваемого слоя людей необходимо учитывать и такой чисто социологический фактор, как их принадлежность к высшим уровням тогдашней социальной структуры России. Во многом поднявшись над своими отцами и братьями, декабристы, однако, чувствовали себя частью той

самой среды, под которую «подводили мину». Оппозиции «мы - они» для них в явном виде не существовало. Это тоже повлияло определенным образом на их поведение во время следствия. И раз уж мы затронули социологический аспект проблемы, отметим необычность сложившейся ситуации, при которой гвардейские офицеры - как правило, консервативная опора режима - оказались в составе либеральнейшей части общества, полностью ориентированной на изменение status quo, что, как мы помним, является одним из атрибутивных признаков персонцентристского типа личности.

Итак, **в начале XIX в. в России возник персонцентризм** как социально значимое явление. На общем фоне истории русской общественной жизни он выглядел очевидным диссонансом.

В предшествовавших веках можно назвать, пожалуй, еще лишь одно движение, которое тоже стало на платформу идейной оппозиции по отношению к поддерживаемой властью и потому господствующей идеологии. Я имею в виду старообрядчество. Однако и эта аналогия может рассматриваться как достоверная только в очень ограниченном смысле, ибо староверы по своим типу мышления и этике более чем кто-нибудь другой находились в русле той же почвеннической системоцентристской шкалы ценностей. Они просто выступили как еще большие традиционалисты, чем сама власть. Линия раскола прошла тогда между ультраконсерваторами и консерваторами умеренными.

Либеральное же движение начала XIX в. бросило вызов всей системоцентристской традиции как таковой, поскольку оно стало на путь пересмотра главных системоцентристских стереотипов. Поэтому его можно в полном смысле слова назвать **контркультурой**.

Как известно, эта контркультура впервые заявила о себе в форме масонских лож, затем офицерских кружков, походивших на мелкие клубы. Постепенно кружки превратились в тайные общества. Впрочем, о декабризме - его истории, идеологии, динамике развития, о фактической стороне событий - неплохо известно даже школьникам. Во всяком случае литературы по этим вопросам написано предостаточно. Естественно, ведь декабризм, особенно собственно декабрьский его эпизод, недурно

вписался в официальные советские схемы развития в России революционного движения. Поэтому мы ограничимся тем, что обратим внимание в данной связи только на два момента.

Во-первых, фундаментом социальной философии декабристов было утопическое представление (впрочем, разделявшееся в тот век очень многими), что решающим фактором, который обуславливает характер общественной жизни того или иного народа, является политическое устройство. А отсюда лежал прямой и короткий путь к действиям, направленным на достижение чисто политических изменений. В тогдашних условиях это означало насильственное устранение «тиранического правления» и замену его новым, справедливым общественным порядком.

Во-вторых, современникам движения 14 декабря понять его подлинный смысл было совсем не просто, ибо оно выступало в одеждах гвардейского путча в пользу конкретного государя, т. е. по понятием XVIII в. было обычным, почти нормальным явлением. Однако по своей сути оно коренным образом отличалось от предыдущих дворцовых переворотов, так как имело целью не решение конкретной задачи - возведение на престол определенного царя (лозунг «за Великого князя Константина и супругу его Конституцию» предназначался для солдатского уровня понимания происходящего), а установление нового общественного порядка.

Когда у нас говорят о декабризме, то чаще всего вспоминают именно его заключительные этапы - трагедию на Сенатской площади, события, непосредственно ей предшествовавшие, а также следствие и «сибирский период» движения.

Гораздо меньше внимания уделяется первому, конструктивному периоду движения, когда его членов более всего интересовали не задачи захвата власти, а проблемы мирного изменения общества, улучшения условий жизни народа и, главное, нравственного совершенствования. Ведь масонство - первоначальная форма декабризма - представляло собой некое братство, свободный и тайный союз людей, занятых нравственным самосовершенствованием¹⁶), а также совершенствованием этических и других императивов социального общения. Будучи проецированными на

социально-политическую сферу, устремления эти превратились в цель «Союза спасения» или «истинных и верных сынов отечества» - «содействовать в благих начинаниях правительству в искоренении всякого зла в управлении и обществе» 17). Не должна вводить в заблуждение ссылка авторов программы «Союза» на правительство; она означала отнюдь не установку на коллаборацию, а совсем иное - намерение воспользоваться существующими механизмами для осуществления социальной реконструкции. Представляется достаточно глубокой и достоверной следующая зарисовка целей и направлений деятельности тайных обществ на ранних этапах их существования: «Итак, тайно-явный союз, заговор добрых: тихо, мирно овладеть всеми главными отраслями государственной и народной жизни, постепенно улучшить мнения и учреждения, внушить законно свободные начала, а между тем, отыскивая повсюду людей с благородным духом, независимым характером, беспрестанно ими усиливаться... пока, наконец, как спелый плод, свобода сама не пойдет в руки или сорвать ее не составит труда и не станет ни крепостного рабства, ни самодержавия, а над отечеством свободы просвещенной взойдет, наконец, прекрасная заря» 18).

Члены общества отнюдь не оставались, как это нередко бывает, в сфере прекраснодушных рассуждений и благих пожеланий. Убеждения служили для них руководством к действию. Например, офицеры гвардейских полков занимались обучением и воспитанием своих солдат, причем весьма систематически и интенсивно. В 1818 г., во время голода в Смоленской губернии, Якушкин, Фонвизин, М.Муравьев и другие помимо правительства организовали сбор средств и спасли от смерти тысячи людей. Многие будущие декабристы всерьез занимались улучшением положения своих крепостных и модернизацией хозяйственной системы в принадлежавших им имениях. Блестящий лицеист Иван Пущин уходит в отставку из гвардии для того, чтобы стать надворным судьей, и погружается в мир московского правосудия, куда, по его собственному замечанию, «до сих пор не ступала нога человека». Подобное «движение в народ» цвета образованной молодежи приобрело в те годы немалый размах 19). И как знать, может, оно и принесло бы плоды, если

бы не извечное проклятие всех хороших начинаний в России - нетерпение максималистов.

Как мы знаем, в движении возобладала революционная, насильственная струя. К тому же обстоятельства подтолкнули горячие головы к выступлению. Последовала импульсивная декабрьская вспышка, впоследствии давшая имя всему движению (на наш взгляд, совсем несправедливо), и оно было растоптано. А как известно, неудачное восстание развязывает руки деспотической власти и тем самым еще больше укрепляет ее.

Тяжело и неприятно становиться в позу эдакого кабинетного критика, который из будущего поучающим тоном рассуждает о поступках людей, находившихся в потоке конкретных и потому неповторимых событий и вынужденных принимать решения в условиях острого дефицита времени и информации. Тем более людей в высшей степени благородных, мужественных и бескорыстных. Ведь альтруизм, жертвенность декабристов сами по себе были уникальным нравственным явлением, образцом, на котором вот уже полтора столетия лучшие люди России учатся гражданственности, самоотверженному служению родине (именно родине, а не государству, т. е. служению не в трафаретно-казенном, а в подлинном смысле слова).

Ведь они были первыми, и даже умнейшие головы XVIII в. не могли понять и оценить их порыва. Когда Федор Ростопчин, одна из виднейших фигур двух предыдущих царствований, умирая услышал о выступлении на Сенатской площади, он был поражен полнейшей, с его точки зрения, алогичностью происшедшего: «У нас все делается наизнанку...В 1789 г. французская чернь хотела встать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегии - тут смысла нет» 20). Конечно, с точки зрения хищника, эгоиста, действия в ущерб себе ради чужого блага бессмысленны. Но в этом и состоял их высокий нравственный урок для последующих поколений.

Однако, к сожалению, мы обязаны помнить и о других последствиях декабрьского выступления - о разгроме движения и дискредитации либеральной идеологии в глазах подавляющей части общества. За

созерцание драмы почти рыцарской красоты, которая была разыграна на петербургских подмостках в течение одного холодного декабрьского дня, страна заплатила непомерно дорогую цену. **Вновь рухнула для России возможность перехода на персонцентристскую колею.** И если в предыдущих случаях предъявлять какие-либо претензии, по существу, некому, ибо тогда в стране не существовало сколько-нибудь заметной группы носителей персонцентристского сознания, то теперь в России появилось нечто, чем следовало дорожить, что нужно было во что бы то ни стало уберечь. А вожди 14 декабря азартно поставили на карту, причем понимая ничтожность своих шансов на успех, самое ценное достояние тогдашней России - впервые появившуюся в ней молодую жизнеспособную поросль персонцентризма. И в этом, как ни горько говорить, состоит их историческая вина перед страной.

Событийная сторона дела хорошо известна: у Медного всадника сработал инстинкт самосохранения, и он принялся остервенело топтать побеги смертельно опасного для его существования растения. Потрясенное общество взирало на события в лучшем случае со страхом и немым сочувствием к гонимым, а то и рукоплескало репрессиям. Господствовавшее тогда настроение умов очень точно выразил Ф.И.Тютчев:

Вас развратило самовластье,
И меч его вас поразил, -
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена -
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва дымясь, она сверкнула

На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула -
И не осталось и следов.

Казалось, что стрелки часов на циферблате истории вновь переместились в XVIII век, что персонцентризм уничтожен бесследно. Весьма показательны в этом отношении впечатления о России французского путешественника маркиза де Кюстина, поскольку они представляют собой отражение в глазах внимательного и вдумчивого, но постороннего наблюдателя положения дел на поверхности русской общественной жизни в тот момент, когда николаевское царствование достигло самого своего зенита 21). Главная мысль книги Кюстина состоит в том, что Россия по своей сути - азиатская деспотия, но принявшая европеизированную форму и оттого ставшая еще более опасной. Однако книга содержит и множество более конкретных наблюдений и обобщений, представляющих, думается, интерес для всякого, кто хочет постигнуть смысл нашего прошлого и настоящего. А.Герцен считал ее самой занимательной и умной книгой, написанной о России иностранцем.

А за три года до путешествия Кюстина Пушкин писал в черновом варианте своего неотправленного письма к Чаадаеву: «Правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него одного зависело бы стать во сто крат хуже». А немного выше он, эмоционально возразив Чаадаеву относительно крайне пессимистического взгляда того на историческое прошлое России, признает справедливость этого же взгляда применительно к сегодняшнему дню страны и дает собственную интерпретацию чаадаевских мыслей (ограниченную и не вполне адекватную, но саму по себе не лишенную ценности): «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству ꝫ поистине могут привести в отчаяние».

Ретроспективное суждение Герцена о последекабрьской общественной атмосфере тоже звучит довольно безнадежно: «После ссылки этих

людей... меньше ума сделалось в обороте, общество стало пошлее, потеряло возникающее чувство достоинства. Даже Кюхельбекер, восторженно романтический Кюхля, так веривший в лучшие качества человека и всегда идеализировавший русский народ, в конце своей жизни пришел к горьким прозрениям. Последние строчки его «Дневника», который обрывается за 9 месяцев до кончины, - это стихотворение «Участь русских поэтов». Беспросветен весь дух стихотворения, но особенно тяжело читать его заключительное четверостишие - строки, которыми заканчивал свою общественную жизнь один из самых прекраснородушных и добрых людей России:

Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей будущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную 22).

В самом деле, народ России в лучшем случае с безразличием взирал на уничтожение людей, которые пожертвовали для блага этого народа всем, что они имели: привилегиями, карьерой, состоянием, даже судьбой своих близких, и усилия которых захлебнулись в удушающем нравственном климате страны. Здесь, наверное, уместно вспомнить приводимые Герценом слова Чаадаева об «огромной немой стране» - России: «В Москве, говаривал Чаадаев, каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол...Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка - иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое» 23).

С этими характеристиками не поспоришь. Горько сознавать их справедливость, но их авторы хорошо знали то, о чем они говорили, и понимали среду, в которой жили, пожалуй, глубже, чем кто-либо из современников. И **все же видимость полной гибели нравственно-интеллектуального движения за обновление, к счастью, была**

обманчивой. Огоньки персоноцентризма, придавленные и рассыпанные железным сапогом деспотического традиционализма, не погасли. «Штамм» контркультуры оказался удивительно стойким, способным к выживанию даже в самых неблагоприятных условиях и обстоятельствах. Об этом, в частности, свидетельствует судьба принудительного перенесения «популяции» декабристов на абсолютно неподготовленную и совершенно враждебную ей по своему культурному складу сибирскую социальную почву. Как мы знаем, декабристы в Сибири не только не потерялись, не зачахли, но в большинстве своем продолжали напряженную духовную жизнь и даже внутреннее совершенствование, поскольку печальные обстоятельства обогатили их новым жизненным опытом. Более того, им удалось привить в Сибири некоторые ростки новой культуры, часть из которых выжила и сохранилась, правда, в крайне ослабленных и «одичавших» формах. Но во всяком случае, если обратиться к лучшим образцам и очагам культурной жизни Сибири, окажется, что почти все они так или иначе связаны своими истоками с деятельностью декабристов.

Власти не только не удалось до конца истребить в обществе персоноцентристский дух. Она даже была не в состоянии предупредить вспышки новых факелов оппозиционной контркультуры и могла лишь топтать их. Парадоксально, что о сохранении персоноцентризма даже в самую глухую пору - в 30-е годы XIX века - свидетельствовали собственным существованием и поведением именно те люди, которые сами оценивали ситуацию в весьма мрачных тонах, т. е., говоря словами Н.А.Бердяева, были полны «здорового социального пессимизма». Я имею в виду прежде всего Лунина и Чаадаева.

Как известно, «звездный час» Лунина наступил в ссылке, когда он стал одно за другим писать и отправлять письма, в которых со спокойным достоинством обсуждал, иногда соглашаясь, а иногда отвергая, широкий круг аспектов политики правительства. Такого рода свободно-критическое обсуждение действий власти в те времена в ряде стран уже считалось естественным порядком вещей. Однако в России подобная независимость суждений по вопросам, испокон веку остававшихся монополией власти, святая святых ее исключительных прерогатив, была

беспрецедентной, тем более что они исходили от человека, который был высочайше осужден, т. е., по системоцентристским понятиям, подвергнут гражданской смерти. В самом деле, «государственный преступник, находящийся на поселении, пробует заменить целой стране парламент, конституцию, оппозицию и свободную прессу» 24). Медному всаднику было от чего прийти в неистовство. Власть свела счеты с Луниным в стиле самых гнусных своих обыкновений (физическое уничтожение лишнего всякой защиты заключенного сначала посредством ужесточения режима содержания, а затем и путем прямого убийства в тюрьме). Традиция подобных расправ одним своим концом уходит по крайней мере в XIV век, а другим, увы, пронизывает наше совсем недавнее прошлое и, боюсь, еще не оборвалась. Но в нашей истории духа лунинское выступление осталось светлой вехой, доказательством жизненной силы русского персонцентризма, ярким примером того, как даже в самых тяжелых и неблагоприятных условиях истинно мужественный и убежденный человек может бросить власти вызов, тем самым заставив ее почувствовать свое моральное бессилие и утверждая собственное нравственное превосходство.

Лунин и Чаадаев, может быть, первыми в России поняли, что истоки гнетущей пустоты и жестокости русской общественной жизни следует искать не в деспотизме правителей, не в злой воле отдельных личностей, а во всем историческом пути России.

С почти апокалиптической силой эту мысль выразил Чаадаев в первом из своих «Философических писем к г-же Н.» 25): «...Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас... То, что у других народов давно вошло в жизнь, для нас до сих пор еще только умственная теория (с.4). Мы... не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Наши умы не бороздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которые составляют их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые (с.7-8). Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы принадлежим к нациям, которые,

кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтобы со временем преподать какой-нибудь великий урок миру ... Идеи долга, закона, правды, порядка... Вот что составляет атмосферу Запада; это более чем история, более чем психология; это физиология Европейца. Чем вы замените все это? (с.8-9) Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Мы ничего не выдумали сами и из всего, что выдуманно другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесплодную роскошь (с.11). После этого скажите, справедливо ли у нас почти общее предположение, что мы можем усвоить европейское просвещение, развивавшееся так медленно и притом под прямым и очевидным влиянием одной нравственной силы, сразу, не затрудняясь розысканием, как это делалось? (с.13) Выгоды всегда следовали за идеями, но никогда им не предшествовали. Мнения рождали выгоды, но выгоды никогда не рождали мнений. Все успехи Запада, в сущности, были успехи нравственные. Искали истину и нашли благосостояние (с.16)» 26).

Итак, по Чаадаеву, тщета, бессмысленность русской истории объясняются нравственными причинами, или, говоря языком современной психологии, принципиальной неполноценностью, ущербностью господствующих моральных стереотипов. Автор «Философических писем» в отличие от декабристов сумел подняться над «зlobой дня» и заглянуть поверх политического фасада здания Российской империи. Увиденное потрясло его своей аморфной беспросветностью, которую нельзя поколебать ни военными переворотами, ни политическими реформами. Поэтому он безоговорочно осуждал выступление на Сенатской площади и вообще был противником поспешных хирургических мер, всяких подталкиваний истории, способных лишь погубить то немногое, что уже было достигнуто.

Однако когда на сцену русской истории вышло следующее поколение, стало ясно, что персонцентризм не погиб. «Люди 40-х годов» приняли идейно-этическую эстафету из рук первого поколения русских интеллигентов. Приняли и двинулись дальше. И важной предпосылкой,

позволившей им продвигаться вперед, было, на наш взгляд, то обстоятельство, что они выступили как духовные преемники не столько декабристов с их якобинским экстремизмом, сколько чаадаевской философии истории. Например, В.Г.Белинский в своем знаменитом программном письме к Гоголю, по существу, переформулировал и частично развил идеи «Философических писем»: о православной церкви как «опоре кнута и угоднице деспотизма», об отсутствии у русских подлинных религиозных чувств, которые подменяются догматической лицемерностью и холуйским раболепством перед «земными богами», о прогрессивной социально-исторической роли католичества как постоянной оппозиции светским властям и обличителя творимых ими несправедливостей, о «призрачности» исторического существования русской народности и др.

Отчетливо прослеживается и преемственность от Чаадаева многих мыслей А.И.Герцена. Вспомним, например, такой герценовский крик души: «Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть».

Или сопоставим чаадаевское и герценовское пораженчество, их «негативный патриотизм», звучавший в предостережении Европе относительно смертельной опасности, которую несет в себе для нее Россия, сильная в военном отношении и по-азиатски хитрая и хищная в политическом. Чаадаев: «В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И потому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее собственных интересах заставить ее перейти на новые пути». Герцен: «Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего, на которое мы возлагаем надежды. Если она и дальше будет следовать петербургскому курсу или вернется к

московской традиции, то у нее не окажется иного пути, как кинуться на Европу, подобно орде полуварварской, полуразвращенной, опустошить цивилизованные страны и погибнуть среди всеобщего разрушения» 27). Так что если кто и «разбудил Герцена», то это были отнюдь не декабристы с их романтическими, иллюзорными попытками приложить к России утопические конструкции просветителей, уже дискредитированные к тому моменту кровавой мясорубкой Французской революции, а именно Чаадаев с его горьким и трезвым взглядом на отечество.

Чаадаевская философия русской истории, его приговор России объективно представляли для власти гораздо большую угрозу, чем экспансивная, но не слишком глубокая социальная критика декабристов. Не случайно именно Чаадаев (а не, скажем, Пестель) был объявлен сумасшедшим. Вообще с Пестелем и его сподвижниками власти было гораздо проще: во-первых, они действовали согласно правилам, которые были ей в значительной мере известны и выгодны, поскольку против насильственных действий и вообще «подрывной» организационной деятельности у власти имелись прекрасные «контраргументы» в виде военной машины и полицейского аппарата; во-вторых, в своих попытках создать оппозиционную идеологию декабристы не были ни особенно оригинальными, ни особенно последовательными и, что главное, далеко не доходили до подлинного понимания основ существующего порядка, а следовательно, не представляли для власти той опасности, которую заключает в себе для нее глубокий оппозиционный критик, пронизательный разоблачитель.

Чаадаев же «положил топор на корни», но в то же время отнюдь не призывал к «подрыву» власти, не пытался образовать какое-либо тайное общество. Поэтому против него нельзя было выкатить пушки, его вроде неудобно было и сажать в тюрьму. Инстинкт самосохранения подсказал власти, что чаадаевские мысли для нее смертельно опасны. Но как отреагировать на выпад этого «расстриги»-гусара? Очевидно, следовало возражать ему по существу, причем используя то же оружие — слово. А этого власть, не имевшая никакого опыта легальной борьбы с оппозицией, делать явно не умела, да и не желала. Так что ей только и

оставалось в соответствии с традицией объявить оппонента юродивым и тем самым избавить себя от необходимости отвечать ему. Но полностью игнорировать либеральный дух века власти все же было неловко. Поэтому она вдобавок использовала и относительно новый для себя прием, который по форме как будто вполне соответствовал духу времени, а именно: спустила на Чаадаева оскорбленное в «лучших патриотических чувствах» общественное мнение.

Кстати, любопытно, что спустя столетие советская власть, внешне полностью противопоставлявшая себя прежнему режиму, пыталась дезавуировать чаадаевское слово тем же способом и с помощью той же самой фразеологии: сначала он был объявлен западником (т. е. плохим, «не нашим» человеком), антипатриотом, католическим мистиком (обвинение в мистицизме, пожалуй, единственная инновация в нападках на Чаадаева), затем при помощи талантливого тыняновского пера он был вновь произведен в умалишенные, а потом о нем просто перестали говорить. А.А.Лебедев в своей чудом вышедшей тогда книжке прекрасно описывал историю советского забвения Чаадаева, которое, на наш взгляд, служит лишним свидетельством преемственности власти в России, преемственности, доходящей до такой степени, что она распространяется не только на суть процессов и механизмов, но даже на отдельные их детали и декорировку.

В России граница между прогрессом и реакцией проходила отнюдь не между властью и обществом. Более того, она проходила даже не между либералами и консерваторами. Ведь, как известно, в составе Верховного уголовного суда, выносившего приговоры декабристам, заседали и те люди, на помощь которых заговорщики рассчитывали в случае своей победы и которые при другом исходе дела, возможно, оказались бы у штурвала корабля победителей. В первую очередь к числу таких людей следует отнести идеолога и автора плана крупнейших административных преобразований Михаила Сперанского, а также давнего записного либерала адмирала Николая Мордвинова.

С другой стороны, сам Николай I, палач декабризма, которого основанное на ложных стереотипах псевдоисторическое сознание безоговорочно представляет самым отъявленным ретроградом, отнюдь

не так уж однозначно реакционен. К тому же он придерживался пусть ущербного, но весьма определенного кодекса чести. При нем также был достигнут значительный прогресс в одном из самых больших вопросов века - в вопросе об освобождении крестьян. Был принят ряд важных законов - закон 1827 г. о существенном ограничении права помещиков отдавать в заклад обрабатываемые крестьянами земли, а в случае нарушения установленных правил - о возможности изъятия крестьян и земель из-под юрисдикции помещика, закон 1841 г. о запрещении продажи крестьян в розницу, закон 1843 г. о запрете безземельным дворянам приобретать крестьян, закон 1848 г., предоставивший крестьянам право приобретать недвижимость, т. е. сделавший их дееспособными в гражданско-правовом смысле, и др. Однако душевладельцы сумели заблокировать проведение этих законов в жизнь, как и в случае с законом 1803 г. о вольных землепашцах. Делалось это двояким образом: либо в закон вводилась оговорка, выхолащивавшая его смысл, как, например, в законе 1848 г. право приобретения крестьянами недвижимости обуславливалось согласием помещиков, либо происходила еще более удивительная вещь - акт просто-напросто втихомолку изымался из очередного издания Свода законов и тем самым как бы признавался никогда не существовавшим. Но важно, что законы эти самим фактом своего обсуждения и принятия, даже независимо от их последующей судьбы, постепенно размывали несовместимый с духом подлинного просвещения взгляд на крестьян как на простое орудие труда, на одушевленную разновидность частной собственности. **Этот процесс медленного размывания прежних стереотипов - необходимый компонент общественного развития, ибо без него невозможен подлинный (а не внешний) переход к каким-либо иным, новым стандартам отношений между людьми.** Думается, борьба вокруг крестьянского вопроса достаточно наглядно иллюстрирует то обстоятельство, что в данных исторических условиях высшая власть отнюдь не была более враждебна прогрессу, чем общество, а в некоторых случаях даже пыталась подтолкнуть его вперед. Общество же не только встречало подобные попытки без

всякого энтузиазма, но, напротив, порой даже отваживалось, очевидно, пользуясь внутренними колебаниями самой власти, блокировать производимые ею прогрессивные перемены. Но, конечно, в большинстве случаев власть и общество шагали в ногу. В частности, их роднила общая глубинная негативная установка по отношению к изменению в заведенном порядке вещей.

Пример тому - судьба Михаила Михайловича Сперанского. Когда этот выдающийся человек, успевший так много сделать в течение своей короткой административной карьеры, попал в немилость, был удален от дел и сослан в Нижний Новгород, его напутствовали «самая искренняя брань со стороны высшего общества и ожесточенная озлобленность со стороны народа» 28) «Верхи» и «низы» были едины в своем неприятии этого реформатора, начавшего ломать устаревшие традиционные формы управления и лежавшие в их основе стереотипы.

Кстати, печальный пример Сперанского подтверждают и два других высказанных нами раньше тезиса: о непрочности положения подлинного реформатора в традиционной структуре, даже если ему удастся заручиться поддержкой на самом высшем ее уровне (ибо такая поддержка противоречит самой логике системы и потому не может быть стабильной), и об условности границ между «друзьями» и «врагами» прогресса в русской истории, ибо сместил Сперанского либеральный царь Александр, а возвратил из ссылки и вновь привлек к государственным делам «реакционер» Николай.

Итак, в России единственной группой, которая с момента своего появления на исторической сцене постоянно, вопреки всем ударам и препятствиям, работала на изменение, на уничтожение и замену традиционалистской структуры отношений, была **интеллигенция**.

В других европейских странах бремя этой высокой миссии, по крайней мере частично, распределялось между различными социальными группами и слоями, что, кстати, связывало их дополнительными узами общности, сознанием единства исторической судьбы и ответственности. В результате процесс трансформации ценностной шкалы общества проходил в этих странах менее драматично и, в конечном счете, значительно более успешно. Скажем, в Англии роль наиболее активного

носителя гражданского самосознания, главного (но не единственного) попечителя об общественном благе в течение нескольких веков выполняла аристократия. Однако при этом она пользовалась поддержкой, а значит, в определенной мере находилась под социальным контролем горожан (третьего сословия), части духовенства, йоменов, не говоря уже о работниках умственного труда, brain workers, интеллигентах в англосаксонском смысле слова - слое, который в Англии возник на несколько веков раньше, чем в России.

В России же интеллигенции не с кем было разделить свою ношу, и она подняла ее одна. Подняла и двинулась к видному вдалеке ей одной свету, окружаемая равнодушием, а то и враждебностью всех прочих подданных Империи. Шло время, сменялись поколения, но ситуация в этом отношении оставалась прежней. Системоцентристский генотип сопротивлялся каким-либо существенным изменениям. Он оказался у русской нации очень устойчивым.

Интеллигенция в одиночку билась над гигантской задачей персонцентристской переориентации общества. Даже самые неожиданные события, самые сложные повороты нашей новой истории, словом, все, чем она, к несчастью, так избыточно богата, не могло заставить интеллигенцию упустить из виду на сколько-нибудь продолжительное время свою главную цель. В мировой истории трудно найти другой такой пример, когда бы целый общественный слой на протяжении нескольких поколений жил идеалами **социального альтруизма**, бескорыстного служения своему народу.

Но эта позиция одинокого героизма российской интеллигенции имела и трагические последствия. Хотя она в своей массе стремилась не отрываться от народа, а, напротив, поднять его до понимания неких общих идеалов, между ними возникла незарастающая пропасть. И **существование этой пропасти представляется нам главной причиной трагического развития нашей истории в XIX и XX вв.**, т. е. с того момента, как в России появилась интеллигенция.

Разделяет ли интеллигенция ответственность за то, что вопреки своим намерениям она оказалась изолированной? Не слишком ли далеко

опередела она свой народ? Реалистичным ли было пытаться столь круто изменить его глубинные установки? Не оказалось бы лучше для дела, если бы наша интеллигенция была настроена не столь максималистски, а проявила бы большую склонность к компромиссу, классовому сотрудничеству? Все это непростые вопросы.

* * *

Ведь интеллигенция оппозиционна по определению и оппозиционна вдвойне в условиях консервативного, традиционалистского общества, которое в придачу обладает еще и деспотическим политическим режимом, т. е. представляет собой переплетение общинного и имперского этических подтипов.

В этих условиях интеллигент-конформист - понятие абсурдное. Интеллигент, вставший на последовательно охранительную по отношению к существующему порядку вещей позицию, постепенно нравственно деградирует и в конце концов гибнет как личность. В рассмотренном нами только что периоде примером такой судьбы является жизнь литератора Фаддея Булгарина.

Но «монополизация» оппозиционного статуса, закрепление его за какой-то одной общественной группой тоже заключает в себе опасность - возникновение сектантской психологии со всеми вытекающими из этого синдрома последствиями.

Не следует также сводить явление оппозиционности только к его политической разновидности. Ведь большая часть русской интеллигенции обычно сохраняла значительную долю политической лояльности по отношению к власти, искала возможности для сотрудничества с нею в деле обновления общества. Однако она была целиком оппозиционна в этическом и психологическом аспектах, в своем самосознании, ценностной шкале. И власть, и народ чувствовали в ней эту опасную чужеродность и поэтому принимали ее помощь лишь в силу необходимости, настороженно, с неохотой и в строго определенных областях. Когда интеллигенты пытались перейти границы отведенной им сферы «квалифицированного обслуживания» некоторых культурных

нужд общества, их резко осаживали. И это постоянное ограничение возможностей интеллигенции рамками роли «ученых приказчиков» сослужило плохую службу не только обкрадывавшему себя таким образом обществу, но и ей самой.

Ведь если существующие в обществе оппозиционные силы не только не привлекаются к сотрудничеству, но даже толком не выслушиваются, то от этого страдают обе стороны: общество, отказываясь от значительной части своего умственного потенциала, от использования способности своего «социального мозга» к критической рефлексии, к предельно заинтересованному и в то же время нелицеприятному самоанализу, тем самым обворовывает, обедняет себя; но и оппозиционная мысль, которую в течение долгого времени в лучшем случае просто игнорируют, а в худшем - третируют, выталкивают из круга нормальных социальных связей - в тюрьму, в ссылку, за границу, - тоже деформируется, изменяется неблагоприятным для себя образом. Теряя связь с обществом, она постепенно утрачивает понимание многообразия реальной социальной жизни, начинает придавать самодовлеющее значение созданным ею самой схемам действительности. А схемы эти, поскольку они не совершенствуются в прямой полемике с идейными оппонентами, все больше приобретают монистический, одномерный характер и резкую, без полутонов, черно-белую гамму. К тому же условия, в которых приходится существовать такой оппозиции, - отсутствие или во всяком случае крайний недостаток каналов для легального выражения своих мыслей, всевозможные преследования, барьер отчужденности между нею и остальным обществом и др. - способствуют отбору и воспитанию в рамках оппозиции особого типа людей, которые и сами-то не склонны к гибкому реагированию на обстоятельства, к сотрудничеству с другими социальными силами 29). **В результате среди оппозиционеров наиболее заметным становится, начинает задавать тон тип нетерпимого, ограниченного сектанта, а сама идеология приобретает черты экстремизма.**

Воплощение очерченной конструкции в российскую действительность можно, к сожалению, в очень яркой форме просле-

**дять на примере эволюции оппозиционной интеллигентской
контркультуры в период царствования Александра II.**

Сноски к главе 4.

- 1 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1958. Т.5. С.249.
- 2 Лебедев А.А. Чаадаев. М., 1965. С.111-112.
- 3 Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С.15.
- 4 Лебедев А.А. Указ.соч. С. 46, 208.
- 5 См.:Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма. М., 1951.
- 6 Эйдельман Н.Я. Лунин. М., 1970. С.40.
- 7 Цит. по: Лебедев А.А. Указ. соч. С.149.
- 8 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С.101.
- 9 Ключевский В.О. Указ. соч. Т.5. С.244-245. О воздействии католичества на формирование в России либеральной идеологии см.: Цимбаева В.А. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма. М. «Эдиториал УРСС». 1999.
- 10 Якушкин И.Д. Указ.соч.
- 11 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С.197.
- 12 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка.М.,1986.С.28.
- 13 Кстати о модернизации истории: подобные трафаретные выражения из нашего современного лексикона иногда очень удачно приклеиваются к тому или иному историческому событию, связывая нас с минувшими эпохами мостиками смысловых аналогий. Нужно, однако, при этом не забывать об известной степени условности любых аналогий такого рода.
- 14 Кюхельбекер В.К. Указ.соч.С.291. Подр. см. об этом сборник мемуарных свидетельств декабристов: Петербург декабристов. СПб. 2000. Гл. 7-9.
- 15 Мы ни в коей мере не пытаемся отвергать существующие серьезные и честные объяснения происшедшей на следствии трагедии, а лишь обратили внимание на тот аспект, который важен для наших рассуждений, да и сам по себе представляется весьма существенным.
- 16 См.:Лебедев А.А. Указ.соч. С.56.
- 17 Ключевский В.О. Указ. соч.Т.5.С.250-251.
- 18 Эйдельман Н.Я. Указ.соч.С.63-64.

19 Следует отметить, что движение это весьма выигрывает при сравнении с деятельностью революционных народников 70-х годов XIX в.: во-первых, парадоксально, но аристократы знали народную массу и контактировали с ней гораздо лучше, чем разночинцы, причем для завоевания у крестьян доверия им отнюдь не нужно было отказываться от привычного образа жизни и «сливаться с народом», как это, как правило, не слишком успешно пытались сделать народники второго поколения; во-вторых, они в отличие от народников, особенно ранних, занимались не подстрекательством крестьян к мятежу, а просветительской и другой конструктивной модернизаторской деятельностью.

20) Эйдельман Н.Я. Указ. соч.С.54.

21 В советские времена эта книжка в единственном советском издании 1930, выпущенном мизерным тиражом вскоре после того уничтоженным Издательством политкаторжан и ссыльнопоселенцев, в библиотеках была запрещена к выдаче. В 90-е годы ее издали несколько раз. См., напр. обстоятельно комментированное издание: Кюстин А. де. Россия в 1839 г. В 2-х томах. М.,1996.

22 Кюхельбекер В.К. Указ.соч.С.433.

23 Герцен А.И. Былое и думы. М.1983.Т.2. С.137-138.

23 Эйдельман Н.Я. Указ.соч.С.257.

24 См.: Чаадаев П. Философические письма...Казань, 1906.

25 Некоторую тяжеловесность стиля следует целиком отнести на счет перевода, опубликованного в журнале «Телескоп» в 1836 г. В оригинале письма, как известно, были написаны по-французски. Я предпочел воспользоваться этим, первым переводом, так как он, по-моему, позволяет точнее услышать, как воспринимались письма современниками.

27Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Соч.В 9 т. М., 1956.Т.3.С.492.

28 Ключевский В.О. Указ.соч.Т.5.С.225.

29 Как отмечалось выше, А.Л. Янов, отстаивая свой тезис о якобы перманентном характере существовавшей в России оппозиционной

контркультуры, упускает из виду эту имеющую принципиальное значение особенность русского оппозиционерства.